

русскости, которая не способна творить. Отстранение от этого элемента представляло борьбой за культуру против животного бескультурья. Но едва ли речь шла о «национальном качестве», хотя подобное явление, теперь под именем *беспредел*, еще раз охватило Россию после распада Советского Союза в начале 1990-х гг. Происходившее легче объяснить крахом государства и отсутствием гражданского общества. Это также скорее объясняющие историческую традицию, чем вневременной национальный характер, явления.

В конце концов, объяснения особых качеств русских и отличия их цивилизации от западной культуры у Шафаревича и неоднократно цитируемого им Солоневича не дают пищи для понимания вопросов. Может ли объяснение глубинной сущности русского духа быть правильным, если оно более подходит к финской, чем к русской истории? Хотя оно вовсе не должно быть ложным, однако заставляет утверждать, что значимость книги Шафаревича для антизападного читателя в том, что она наглядно показывает то, как откровенно можно писать в России на табуированные в западных идеологических кругах темы.

Пошлость

В любом языке и в любой культуре есть понятия, в которых особенно четко отражаются их особые качества. Предметы объединяются иначе, чем в другом языке схожими понятиями, и по этой причине перевод подчас бывает невозможен. В отличие от логики и математики разговорный язык не является нескончаемой тавтологией, живым языком невозможно бесконечно варьировать, не сказав ничего нового. В суждениях о реальном мире логические тавтологии уничтожают очень многие оттенки значений. Каждый, кто использует язык, опирается на истоки своей культуры и сохраняет, сознательно, или несознательно, наследие прежних поколений. С радикальной точки зрения давление традиции может оказаться очень обременительным, давящим на мозги каждого поколения «тяжестью свинца», как говорил Маркс. Но на этот вопрос можно взглянуть и иначе.

Русские охотно подчеркивают особость собственной культуры, и часто это объясняется простым желанием видеть в ней что-то неевропейское, выстроенное на собственных законах и собственных принципах. Так поступали не только российские славянофилы и иностранные русофобы. Ныне, например, Самуэль

Хантингтон в своей работе о цивилизационных конфликтах выделяет русскую «православную» культуру как нечто совершенно особенное. Так же поступают многие более или менее модные российские мыслители.

Не стремясь разрешить извечный спор о европействе России, можно, вместе с тем, сказать, что в русской культуре присутствует много понятий, перевод которых однозначно на многие индоевропейские языки действительно не удастся осуществить. (Я не говорю здесь о финно-угорских языках.) Например, возьмем такое понятие как «пошлость». Это понятие стало известным на Западе благодаря Владимиру Набокову после опубликованного им в 1940-х гг. эссе о Гоголе. Набоков считает, что слово *пошлость* выражает нечто внешне блестящее и красивое, но внутренне пустое или испорченное. В нем есть что-то фальшивое и неприятное, но эту испорченность на первый взгляд отнюдь не сразу заметишь. При переводе на финский язык предлагается слово *matalahenkisyys*, но я полагаю, что оно не очень помогает читателю. Кроме того, слово «пошлость» по своему значению более широкое и более жесткое. Оно обозначает также известного рода неприятную наглость. Человеку, который оказывается в публичном месте «нализавшимся», можно с упреком сказать, что его поведение *пошло*. Слово это подходит для того, чтобы охарактеризовать также открытое проявление сексуальных инстинктов. В свое время даже цыганские романы характеризовались этим термином в силу своей чувственности.

Как видим, различные проявления пошлости можно в финском языке описать словами *helppohintaisuus* («дешевость»), *häpeämättömyys* («бесстыдство», «наглость»), *mauttomuus* («безвкусица»). Это слово, однако, в действительности не описывает дерзость и грубость, для которых есть свое обозначение — слово «хамство», у которого наличествуют скорее классовые коннотации.

Набоков использовал слово «пошлость», чтобы провести различие между подлинной достойной культурой и американской пустой бестселлер-макулатурой. *Пошлость* означала для него скорее кичливую искусственную глубину. Схожим образом основное течение российской интеллигенции еще за сотню лет до него стремилось отделиться от «обывателей» и представляемых ими человеческих свойств, описываемых в русском языке словом «мещанство». Это также понятие, которое затруднительно однозначно перевести одним словом на другой язык. Слово «мелкобуржуазность» в значительной мере передает его суть. Современный исследователь Светлана Бойм, которая уклоняется от предположения

об исключительности русской культуры, объясняла навязчивую борьбу интеллигенции против *пошлости* социальным положением этой группы: интеллигенты унаследовали от аристократии презрение к низшим классам. Это, однако, не следует обращать на собственно народные классы, которых идеализировали, но на ту группу, которая находилась между аристократией и народом и не принадлежала к интеллигенции. Это была презируемая мелкая буржуазия, от которой следовало отстраниться. Понятие *пошлость* служило именно этой отстраненности.

Есть основания согласиться с объяснением Бойм. Во всяком случае, если правда то, что в культуре ничего объективно глубокого не существует, то тогда объективно не существует и противоположность глубокого. Все относительно, все зависит от субъекта.

Однако именно это было и находится в резком противоречии с традицией российской интеллигенции. Последняя считает борьбу против мещанства и представляемой им *пошлости* основной задачей жизни. В этом можно проследить линию от Александра Герцена к Максиму Горькому, Владимиру Набокову и далее вплоть до наших дней. Различия в подходах, правда, значительны. Герцена раздражало в мелкобуржуазности, прежде всего, давление однообразия и отдача драгоценных часов жизни второстепенным и просто не имеющим никакого значения вопросам, превращающим жизнь в некий суррогат. Сосредоточенность французов на семье и служение деньгам американцев символизировали для Герцена *пошлость* лучше всего. На Францию как родину мелкобуржуазности указывал пальцем и Бердяев, по мнению которого, легенда о легкомысленности французов — чистый миф, на деле французский мелкий буржуа принадлежит к самым типичным и самым ханжеским явлениям в мире, ценностный мир его совершенно пуст. Особенно славянофильски настроенные российские интеллигенты чернили также германскую культуру, которая рисовалась маловыразительной и ограниченной. Узкая немецкая душа, в соответствии с этим представлением, никогда не была способна понять широкую душу русского, которая, в свою очередь, могла заключать в себе целый мир. Народ России был народом-богоносцем, и русский человек был способен понимать все человечество, как считал Достоевский.

Наиболее плохая оценка от русской интеллигенции пришла на долю американской культуры. Русские познакомились с классической критикой американской демократии давно. Еще Александр Пушкин читал критическую работу Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке». В кругах российской интеллигенции

уже в XIX в. Америка стала представлять как жувльническая страна, а в следующем столетии этот образ только усилился. Хорошим примером является Максим Горький, который в начале XX столетия пробыл некоторое время в Америке и написал об увиденном крайне ядовитые очерки. Корни несчастий американского общества, по мнению Горького, в том, что в этой стране только один общественный класс — мелкая буржуазия. Никто не ведет себя как рабочий или крестьянин, даже пьяницы не горланят, а пытаются оставаться в рамках порядочности слабоумного среднего класса. Вся культура находится на уровне 13–14-летних.

Русские сделаны из иного материала — верила интеллигенция. Еще Герцен считал, что народ России никогда не пойдет тем путем «золотой середины», *juste milieu*, который французский король Луи-Филипп сделал национальным идеалом. Русские по своей природе склонны впадать в крайности, и в добре, и в зле. На самом деле и французы отнюдь не были столь педантичными мелкими буржуа, как опасался Герцен. Революционный пыл проявился в этой стране так же, как и в России. Миф об особой антибуржуазности русского человека в любом случае жив и оказывает свое влияние. Когда в 1917 г. Россия впадала в безотрадную анархию, Бердяев считал это естественным следствием русского национального характера: русский никогда не сможет стать мелким буржуа, он апокалиптик и нигилист. Революция, по мнению Бердяева, осуществила то, что предсказывал Достоевский. Российская интеллигенция действовала как один из братьев Карамазовых — Иван, научившийся атеизму и нигилизму у Смердякова. Иван убил отца в своем воображении, Смердяков — народ России — сделал это в действительности и ненавидел Ивана — интеллигенцию — за то, что та лишила его своей веры.

Большевистский переворот российская интеллигенция отвергла все же почти единодушно. Правда, она почти сотню лет стремилась к революции, но представляла ее себе совершенно иной. В действительности революция действительно уничтожила ненавидимую мелкую буржуазию и ее *пошлость*, как того всегда хотела интеллигенция. Однако она не уничтожила и даже не ослабила ее грубости — *хамства*, которое усилилось у рабочего класса и крестьянства.

Только в 1930-е гг. Сталин поставил перед новой, формирующейся интеллигенцией задачу овладеть формой жизни мелкой буржуазии, которая теперь проходила под новым кодовым именем «культурность». Официальное искусство получило задачу

правильно описывать новую социалистическую действительность и быстро выработать слащавый и высокий стиль, который скрыл бы под плотным покрывалом давно известную *пошлость*.

Социалистический реализм был совершенно не русским явлением, полагал Набоков. Но чем же он был? Пожалуй, он, все-таки, был второй головой русской двойственной традиции, ставшей теперь господствующей. В России он породил, во всяком случае, реакцию, влияние которой сохраняется и сказывается и у нас, и в наше время.

Реальный социализм Востока и культурная революция Запада

Роджер Скратон, один из наиболее острых критиков постмодернизма, считал, что у высокой культуры религиозные корни, что на самом деле культура есть то, что осталось от ушедшей веры. Иными словами, культура, таким образом, продолжает труд веры другими средствами.

Здесь следует упомянуть, что Скратон понимает культуру в духе Гердера, как традицию, которая придает цивилизации ее дух и миссию. Культура есть знание о ценностях и ценимом, которое передается от одного поколения другому. Она есть лучшее, что было сказано и сделано, и ее ядро находится в лучших канонических произведениях. Правда, красота и добро есть иерархические и социальные понятия, люди овладевают знанием о них при посредстве культуры, а роль высокой культуры заключается в том, чтобы представлять высочайшие достижения этих ценностей.

Скратон, таким образом, отвергает решительно релятивизм и эгалитаризм: чье угодно переживание абсолютно не благо, чье угодно стремление не «веско». То, что относится к высокой культуре, решает общество. Оно, по возможности, наиболее весомо судит о ценностях, к которым оно стремится, и которые в действительности формируют ядро всей человеческой жизни, стремление к самому высокому, что может дать жизни человека осмысленное содержание даже при гибели веры.

Следовательно, у высочайших достижений культуры есть особая святость, полученная ими от веры, наследниками которой они являются. Так обстоит дело, по крайней мере, в здоровых цивилизациях, которые заключают в себе еще не увядшие чистые формы культуры, духа, в отличие от клонящихся к упадку. Цивилизация может